

РАССКАЗЫ

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

Антону Павловичу Чехову посвящается

В Женеве на вокзале Корнаван встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что вышел из вагона, где он неплохо отобедал с парой бокалов великолепного шардоне. Несмотря на прохладу февральского дня, в организме было уютно, а на душе весело. Шел он довольный жизнью, и казалось, что так же довольно развеялся его ярко-лиловый кашемировый шарф поверх ярко-бежевого кашемирового пальто. Вся огромная фигура излучала надежность, уверенность во всем. Его голубые глаза искрились на розовом, как жамбон, лице. Это веселье еще более усилилось, когда он увидел своего старого одноклассника, которого не встречал уж лет пятнадцать.

Тонкий тоже только что вышел из вагона, но другого и тащил явно тяжелый чемодан. Он сиротливо озирался, силясь углядеть тележку, чтобы швырнуть наконец на нее треклятый чемодан и сумку, что мешалась на плече.

— Килька! — заорал на весь вокзал толстый, так, что полвокзала с любопытством оглянулось на него. Тем более что окрик был на тарабарском языке для разношерстной женеvской публики, все еще не привыкшей к русскому языку. — Вот тебе на! Тысячу лет не виделся, и надо же так случиться, чтобы мы встретились здесь, в Женеве! Пути Господни неисповедимы!

— Боже мой! Боже мой! — запричитал тонкий. — Славка! Одноклассник! Пончик!

Оба товарища были так взбудоражены, что вначале разглядывали друг друга с явным удовольствием и лишь потом, минуты через три, бросились обниматься. Глаза у обоих увлажнились. Несмотря на комичную разницу в фигурах, тем не менее было приятно смотреть на двух человек, столь радостных просто от того, что они встретились в жизни. У тонкого жидкие волосы растрепались, но щедушная фигура как бы ободрилась и стала казаться чуть значительнее. Толстый хохотал не переставая и так же не переставая хлопал тонкого по плечу и по спине. С тонкого окончательно сползло присущее ему постоянное смущение.

— Да, Славка, ты все такой же... каким ты был, таким ты и остался. Пижон, просто улет. Ну, Пончик, ты даешь! Я еду в командировку. В ус не дую. И не ведаю, что встречу тебя здесь, на вокзале. Рассказывай, как ты? Что ты? Наверное, высоко летаешь?

Николай Олегович Хлестов родился в 1952 году в Москве. Дипломат, прозаик. Окончил МГИМО. Работал в нашем посольстве в Эфиопии, в различных департаментах МИД СССР и затем России. Занимался многосторонней дипломатией, участвовал во многих международных совещаниях по линии ООН. С 1998-го по 2016 год работал международным чиновником во Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве. Автор книг прозы, вышедших в России и ФРГ, член Союза писателей XXI века. Дипломант премии «Писатель XXI века» в номинации «Проза» за 2017 и 2019 годы. Живет в Москве.

— Послушай, Мишка, что мы тут прохлаждаемся? У тебя есть пять минут? Давай залетим в бар. Вон на выходе на улицу Монтбрийан стоит стекляшка-промокашка. Врежем по стаканчику за нас, а?

— Дело хорошее. Узнаю Пончика. Но я не один. Со мной жена... она тут за угол за-вернула в магазин.

— Килька, хватай ее скорее и тащи в бар. В кои веки встретились.

Тонкий приосанился и торжественно заявил:

— Скажешь тоже: тащи! У меня жена из дворянских будет. Ее дед по материнской линии воевал на стороне белых.

— Ну, Килька, ты даешь! Как чувствовал, что в моду нынче войдет! Это же надо так учуять момент! Даже где-то как-то завидую.

— Да, Славка, я сейчас разыщу ее. Подожди минуту.

Тонкий быстро завернул за угол, как бы позабыв о неудобстве и тяжести багажа. Он тут же напоролся на свою половину, погруженную в изучение цен и качество женских сумок. Это исследование ей тяжело давалось, и она даже взмокла от усердия.

— Пойдем, дорогая, там мой одноклассник.

И тонкий потащил жену к Пончику, который при виде ее церемонно склонился. Он как будто силился показать весь арсенал своего западного лоска. Небрежным движением плеча он поправил свой шарф — стал виден дорогой лейбл. Протянутая рука демонстрировала не только мощь, но и некоторую элегантность. Он слегка пожал пальцы супруги и быстрым взглядом оценил ее статью.

— Как вас величать? — спросил он легко и властно.

— Елизавета, — несколько смущенно ответствовала ему жена тонкого.

Троица дружно устремила к бару. Они устроились за столиком.

— Что вы предпочитаете в это время дня? — широко улыбаясь, спросил толстый.

— Я бы кофе выпила... — начала было Елизавета, но толстый решительно прервал ее.

— Ни в коем случае. Нужно отметить.

— Ну, хорошо. Тогда бокал белого вина, — легко согласилась супруга, уступая решительности этой неожиданной встречи.

— Сразу видно благородство крови. Никакого тебе жеманства, — подбадривал толстый. — А мы с тобой, Миш, давай дернем чуть-чуть по височки. За встречу.

— Давай, Пончик. За встречу. В кои веки... на чужбине.

Официант принес напитки, герои чокнулись и выпили.

— А ты знаешь, я привез Лизу первый раз за границу. Представляешь, в первый раз — и тут же тебя встретили. Это какой-то знак свыше... знак судьбы.

— Да, уж это точно. Ты упал на меня, как какое-то знамение. Я шел и думал, как все меняется в жизни. Я здесь, в Швейцарии. Никогда думать даже не смел, что буду здесь жить, что моя дочь будет здесь учиться...

— Слав, а ты здесь живешь? — протянул в недоумении тонкий. — Ты правда живешь в Швейцарии?

Удивление еще больше вытянуло фигуру тонкого. Он весь стал как скрипичный знак.

— Это невероятно!

Толстый посмотрел на тонкого спокойным взглядом, от которого Миша даже заерзал, и сказал, растягивая слова:

— Килька, ну что тут особенного. В наше время народу до и больше живет за границей. Куда ни плюнь — всюду наши. Поедешь на Капри — там наши. На Пальму-де-Майорку — обратно наши, на норвежские фьорды — опять наши. Я уж не говорю про Кипр, Грецию, Турцию или Египет. У меня ощущение, что русские теперь повсюду. Представляешь, прилетишь на Венеру, а тебе уже из кратера кричат: здорово, мужик.

Ты давно с Земли? Но я не оторвался от родины. Слежу с большим интересом за событиями в России. Все, что там происходит, все это волнует. Так сказать, в курсе всего, что там творится. И потом... я часто наезжаю в Москву, Санкт-Петербург.

— Пончик, у тебя и дочь здесь учится? Как интересно!

— Ну и что? Учится в Ролле. Это тридцать километров от Женевы... закрытый колледж такой. Я, собственно, за ней и приехал. За ней и за женой.

— Марина? Помню, — радостно закивал головой тонкий.

— Нет, Килька. Помнишь ты не можешь, потому как это Женя и ты ее никогда не видел.

Тонкий сконфузился и, словно ища поддержки у жены, спросил:

— Лизонька, как тебе Женева?

— Так мы только приехали и еще ничего и не видели.

— А ну да, ну да, Лиза. Ты права. Слав, давай еще махнем за нас.

— Давай, Мишка.

Они выпили. Елизавета присоединилась к ним. Толстый романтично прогудел:

— Ты как будто из другой жизни выпал. А была ведь та жизнь, была... я уже начал забывать ее. Все было... да, знак судьбы. Ты, Килька, как машина времени. Вернул меня в прошлое.

— Пончик, что ты все о прошлом. Давай лучше о настоящем, о будущем. Что ты поделываешь?

— Да ничего особенного. Так, кручусь-верчусь потихоньку.

— Поди, миллионер уже.

Толстый напрягся слегка.

— Ну, как тебе сказать. Подымай выше — банкир.

Тонкий замер на месте, а супруга его так просто застыла (вот что значит дворянская кровь — тоже застыла).

— Вячеслав, да ты прямо удав. Раздавил нас этой новостью. Я даже не знаю твоего отчества.

— Михайлович, как Молотов. Да брось ты, Килька.

— Нет, дорогой. Позволь мне тебя называть запросто по-товарищески (он сделал ударение на «ри») на «ты», Вячеслав Михайлович.

— Килька, перестань дурака валять.

— Вячеслав Михайлович, друг мой любезный, друг детства. Если бы ты только знал, только знал, как я горжусь. Не побоюсь этого слова: горжусь дружбой с тобой и твоим присутствием. А то, что мы в загранице, так это еще более усиливает...

— Да что усиливает, Мишка? Ничего заграница не усиливает. Прекрати балаган этот...

— Ты видишь, Елизавета, это знак судьбы. Я тебе говорил еще до отъезда, что мы увидим в Женеве что-то необыкновенное. Как там Чехов говорил? Мы увидим небо в алмазах. Увидели! Алмаз ты наш бесценный, друг атлантический.

Толстый хотел вновь возразить, но сияющие лица тонкого и его жены, их непрерывные причитания поглотили все его позывы.

— Месье! — позвал он резко официанта. — Ладисьон, силь ву пле. — Официант принес счет, и толстый быстро расплатился. Он торопливо попрощался с другом детства.

— До свидания, Килька. Всего вам наилучшего, Елизавета. Желаю приятно провести время в Женеве. Дай бог, свидимся.

— Да, дай бог, снова встретимся. С нашим превеликим удовольствием, Вячеслав Михайлович. Ура, ура! — закричал тонкий, нисколько не обращая внимания на удивленную публику, все еще не привыкшую к русской речи.

«Зачем только я дал ему свою визитную карточку? Надо будет сказать секретарше, чтобы не соединяла. Эх, Килька, Килька! — подумал толстый. — Знак судьбы, знак судьбы».

ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ

Колокольный звон пламенел в душе Василия. Его равномерные восходы и закаты раскачивали Васино сердце. Как же здесь непривычно сладостно. Лучи света, струящиеся через витражи, рассекали полумрак церкви и наполняли Васю чем-то радостным, будто что-то благодостное снисходило на него оттуда — сверху.

Где все видать, ты так и знай! — пронеслось по Васе.

«Смотри-ка, — подумалось Васе, — и советские песни неосознанно пронизаны постулатами. Что же я так долго шел сюда? Все что-то мешало, все как-то некогда было. А люди ходят сюда часто или хотя бы регулярно, и чувствуется, им от этого куда как лучше. Что мне мешает, кроме несознательности?»

Василий давно хотел креститься, но в советское время теща отговаривала его довольно удачно, намекая на то, что жену Любу попрут из райсовета, где были преотличные продуктовые заказы. А все его сетования о том, что жена лишь машинистка и за мужа не ответчица, не достигали ее сознания. Рухнул СССР, и отверзлись врата церкви для страждущих. А Вася вдруг охладел к этой идеи. Все пошли креститься, и теща тоже, но не это его остановило, а всеобщее прозрение и суетное приобщение к лону церкви. Теща корила, мол, слишком гордый, все-то тебе не так да не эдак, все ты норовишь отдельно отстоять от всех, и рота у тебя вся идет не в ногу, не хлебом единым сыт человек. Но не застревали тещины слова, и в ответ не хотели даже выползть Василины резоны.

Подстегнул случай. У Васи появился приятель, который сразу же ему понравился тем, что на вопрос, как ваше имя-отчество, отвечал: вы его никогда не забудете — Михаил Сергеевич. И верно: не забывается такое никогда. Михаил Сергеевич был верующим человеком. Васе казалось, что Михаил Сергеевич вырос почти что в схиме, поскольку он не только знал молитвы и псалмы, но и соблюдал посты, хотя и был пьющим, что также притягивало и роднило. Правда, он разъяснил Васе: я не пью — я выпиваю. Это больше, чем отличие. Это скорее даже пропасть, а не разница.

Поначалу Василий, особенно в подпитии, обзывал его фанатиком, потом доходил до еретика, а завершал изувером с религиозной подкладкой. Но однажды после очередного принятия нектара души (когда не было поста) и философских бесед о смысле бытия в России Михаил Сергеевич ошеломил Васю.

— Трудно тебе жить, Василий. Жалуешься на неприятности житейские, терпишь ты притеснения на работе, но стоически. И главное — находишь в этом удовлетворение для души своей.

— Это верно в чем-то. Но говорят, что тяготы улучшают нас и очищают. Хотя есть и иное мнение, что люди от притеснений и козней только мучаются и становятся злобнее.

— А ты крещеный? Верующий, ты, Василий?

— Нет, конечно. Я правильный советский человек.

Собеседник посмотрел на Василия сосредоточенным взглядом и с чувством выдохнул:

— Несчастный! Как же тебе трудно приходится!

— Не заманивай меня в свою схиму, обитель изуверскую.

Михаил Сергеевич даже не обиделся, только молвил:

— Дурачина ты, простофиля. Но ты еще придешь к Богу.

Этот выдох запал в Василия, и он стал задыхаться в этом запале своем, пока наконец не крестился, но в церковь ходить не ходил. А вот сейчас шел с Любой, и вдруг что-то ну прямо швырнуло его к дому коронации его души в этот воскресный весенний день. И он начал сразу же забываться: куда пришел и зачем пришел. Церковь приняла его толпой прихожан, которых Василий разглядывал с интересом, и чувства наполнили его разные.

Вдруг Васе вспомнилось, как он крестился. Священник попался чрезвычайно внимательный и во время процедуры постоянно напоминал, что в храмы других религий ходить молиться отныне нельзя. Васе было непонятно, почему он так напирал на недопустимость сочетания веры, но потом осознал причины такой внимательности. За неделю до крещения он долго рассуждал с приятелем в церкви о том, что христианство едино и зачем придумали этот католический раскол — ему непонятно. Видимо, священник проходил мимо и услышал его разглагольствования. Далее батюшка сообщил ему, что Вася должен прийти причаститься, что он и сделал, как рекомендовали — через неделю.

На этот раз служитель был другой: довольно молодой, похожий на разночинца, а может, даже на иезуита. По крайней мере, иезуиты Васе представлялись именно такими — ожесточенными в своих убеждениях и повадках. Поп все время страшал прихожан напастями и угрожал заставить их бить многие поклоны и вымаливать прощение. При этом молодой священник сообщил, что причащаться могут лишь те, кто знает смысл причастия, чем поверг Васю в недоумение, так как ему не сообщили о необходимости изучить этот вопрос накануне. Не ведая, как быть, тем не менее Василий дождался своей очереди. Какая-то девчонка юркнула перед ним без очереди. Захотелось гаркнуть на нее, но Вася остановил свое негодование — не на базаре. Наконец подошел и его черед. Суровый священник обратился к нему, пристально посмотрев в глаза. На вопрос Вася ответил простодушно, что не ведает он, что такое причастие. Священнодействующий язвительно вопрошал его вновь про то, как он осмелился причащаться без должного знания. Василий смиренно отвечал, что явился после крещения, как предписано. Внутри Васи уже закипал огонь негодования.

Что он меня все шпыняет, как на партсобрании, язва такая! Может, он не то ремесло выбрал? Ему вспомнилось где-то читаное, что священник никогда не может отказать прихожанину. Потерпев еще укоры, он наконец не выдержал:

— Так вы что, отец мой, прогоняете меня?

Священник аж дернулся:

— Ни в коем случае!

После этого Вася опустил голову, на которую было что-то положено, и услышал какие-то заклинания. Ушел он какой-то опустошенный, а дома сообщил, что процедура завершена, но смысл ее ему не ясен. Теща, как всегда не во время, порекомендовала почитать книги священные, чтобы прийти в полное осознание события. Но Василий срезал ее, отметив, что Библию он уже листал не раз, а кружки политграмоты и так достали его. Свою мысль он подкрепил хорошим стаканом водки, против которого у тещи, конечно, аргумента не нашлось.

От воспоминаний этих сердце Васино ожесточилось, и он пришел в расстройство. В церкви так не положено.

— Опять я не о том. Где же ты, смирение и терпение? О Богоматерь Божья, все превосходящая! Научи меня любить, любить всех и вся, ведь в любви все пребывает. Она все побеждает, и пред ней все склоняется.

Но и эти мысли прервались. Взгляд его остановился на женской фигуре.

— Что ты на меня так смотришь? Что ты телом качаешь в церкви? Ты душу мне качаешь! Эх, раскачала. Жужжи, шмель мой манящий. Петуния моя, переливай меня,

как радуга через край. Розарий глаз моих, жадно глядящих, исцарапай мои руки так, чтобы они не тянулись к тебе, ибо нет сил, чтобы остановить их в пьянящем порыве греховности. Не возвращивай нечистых помыслов. Истопчи крылья мои, ибо нет сил к сопротивлению и осталась мне одна погибель, как взглянул я на твои изгибы и округлости, кои породили мысли мои дерзновенные. Боже правый! Это не восхождение, а нисхождение. Что же это я в церкви, а мотивы скромные. Отец Небесный, проведи меня чрез все искушения, закали супротив всех напастей! Надобно следить за батюшкой. Вот слова умиления: помолимся Господу нашему Богу!

Это запели, а затем мощно ударил бас: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Стоя лицом к алтарю, священник поднял руки вверх.

«Подними их, подними повыше, — подумал Вася, настраивая себя на должный лад. — Вознеси эти руки кверху и меня на них подними. Вознеси меня повыше к небу. А если невысоко — тянут грехи книзу, — то хотя бы не дай мне упасть в подземелье помыслов моих. Дети мы подземелья и не знаем, куда бредем, обо что спотыкаемся».

Василий всеми силами крепился, чтобы уберечь свое сознание от несправедного скольжения.

«Надо думать о чем-то серьезном, высоком. Как преодолевать слабости и как надобно правильно подниматься ввысь? Как бы преумножить силы свои, чтобы никакая низость не могла одолеть меня?»

Васе вспомнился гад начальник, который бесконечно мучил его своей приставучей глупостью. Как бы хорошо было его утопить в болоте, — пристала к нему липкая мысль.

«Боже правый! Опять я о нехорошем. Нельзя желать смерти ближнему. Хотя какой он мне ближний? Он дальше отстоит от меня, чем все человечество. Нет, надо помыслить о чем-то заветном, радостном. Ну, хотя бы о детстве. Как в детстве все легко и понятно! Почему жизнь все осложняет с годами? От того, что долго живешь, умнее не становишься, скорее подлее, как утверждал Чехов. Да, согласен с этим печальным выводом. А в детстве жить как-то было легче, а впрочем, бывают нюансы».

Вспомнилась противная харя мальчишки. Фамилию Вася забыл, а вот рожу соседа по дому, старше на шесть лет, помнил. Однажды этот паразит отнял у него любимый ножик и не отдавал его. Вечер был поздний, пора домой, а то мама заругает, и перочинный ножик вернуть надо во что бы то ни стало. Как тут быть? Канючил он, канючил, но ничто не срабатывало. Наконец когда Вася понял, что не видать ему ножика, а драться с верзилкой бесполезно, он горько заплакал. И тут этот урод с легкостью возвращает ему дорогой сердцу ножик и провозглашает такое, что Вася до сих пор помнит и до сих пор недоумевает. Это чудо скотской природы вещает, что хотел он лишь довести его до слез, а ножик дурацкий (падле этой дурацкий, а Васе даже очень родной!) ему даром не нужен. Вы представляете себе, какие начинающие садисты вырастали в нашей любимой стране. Это в то самое время, когда всю утверждался советский образ жизни, где человек человеку друг, товарищ и брат. Но если не брат, то хотя бы товарищ, а тут просто волк с каким-то совсем свиным рылом. Вот как эти оглоеды подорвали веру в человечество. Надежды на лучшее общество просто стали сами разрываться на куски. Уверен: именно такие, с позволения сказать, люди сокрушили советский строй, который был самым лучшим в мире. По крайней мере, нам так внушали, что просто не было никакой возможности в этом усомниться. Было даже удивительно, как другие люди могли не понимать этой очевидной истины. Вот какие образы вспыхнули в Васе при одной только мысли о детстве.

«Опять падаю я. Не дано мне парить в высотах, — горько заключил Вася. — Где ты, опора моя? Боже, укрепи меня и направь! Укажуй пути верные, направь стопы мои, удо-

стой озарения, Господи! Надо преодолевать соблазны». — На этой мысли Васе вспомнился поход на исповедь, на которую он долго собирался и наконец решился. Излагая свои прегрешения, он вдруг заметил скучающего священника и, не подумав, тут же ляпнул: «Наверное, ничего нового я вам не сообщил? Очевидно, вам приходится выслушивать много однообразно похожего, не так ли, владыка?» И тот кивнул головой, от чего Вася сразу ободрился и тут же закруглил свое повествование.

«Опять я отвлекаюсь. Не об этом, не об этом надобно думать. Подвиг души нужен. О Господи, расширь мое сердце! В любви, в любви все тонет».

Василий посмотрел, как неистово крестился рядом стоящий старик.

«Молитва не должна быть показной. Да, как будто он и не обращает ни на кого внимания. Вот какие у него глаза просветленные. Где я видел такие же глаза?»

И вспомнилась ему бабушка. Эта маленькая сухонькая старушка потеряла всех детей и мужа. Она любила всех: детей, внуков своих и не своих, людей вообще. Ей нравилось все, и всех она жалела.

— А как не жалеть? Всем ведь трудно.

— Баба Оля, да ведь этот негодник тебя обижал!

— Ну обижал, так не по злобе же, а по недомыслию.

Никогда она ничего плохого ни о ком не говорила. Никого не порицала, не сплетничала. Прожила долгую жизнь, работая неустанно. Спросишь ее:

— Баба Оля, как дела?

— Твоими молитвами, Василек ты мой.

— Поди, трудно тебе?

— Да ничего, потихоньку. Вам-то все труднее.

— Да почему нам-то?

— А как же! Сейчас время иное, такое шумливое, хлопотное.

В войну сгорели ее документы, и пропала трудовая книжка в огне. Пенсию получала крохотную по потере кормильца. А собрала себе деньги на похороны сама, непонятно как, с ее-то нищенским доходом. Все приговаривала: не хочу быть обузой никому, а тем более внукам. Как родилась в вере до революции, так и пронесла ее по жизни, лишь недоумевая, как жизнь странно меняется все время. В конце жизни сокрушалась: зажила я. Что-то меня Бог никак к себе не приберет! Умерла под Пасху на девяносто четвертом году своей замечательной жизни. Говорят, на Пасху умирают только светлые люди.

«Оказывается, можно жить так ясно, так понятно, опираясь на простые вещи жизни. Не раздумывая ни о чем, лишь помня одно: добро есть добро, а остальное от лукавого. Вот оно главное. Вот оно сокровенное и блаженное! Все лучшее всегда идет от желания добра. Единого, нерушимого, рожденного во всяком человеке, идущего от колыбели до самого конца».

Василий почувствовал, как отступают от души тоска и печаль. Мысли, навеянные суетой, разбежались, как облака под напором свежего ветра. Не видел он больше никого в церкви. Ничто не отвлекало, не топорщилось мелкое, и не запирались отныне душа в самой себе.

«Не страшно жить, страшно прожить мнимой жизнью, — снизошло на него. — Претерпи любовью, прощением, состраданием. Изнемогай, падай, но поднимайся и гряди вслед Ему до победного конца! Думай лишь о том, как Воля Божья совершится во всем: и в тебе, и во мне, и в близких наших. Яви любовь, припади к плачу Пречистой и моли о спасении, о спасении всех и земли Русской. Не в силах Бог, а в правде!»

Что-то приподняло и понесло Василия. Невидимая слеза блаженно потекла от глаза к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя!